

Л.С. ФЛЕЙШМАН (*Стэнфорд*)

ВЫСЫЛКА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И РУССКИЙ БЕРЛИН В 1922 г.

Высылка 1922 г. давно расценивается исследователями как переломное событие послереволюционной эпохи. Было даже высказано мнение, что история эмиграции восходит к этому эпизоду, начинается с «философского парохода», и хотя это утверждение фактически несправедливо, оно отражает распространённое представление об интеллектуальном багаже, привнесённом этим пароходом в духовную жизнь Зарубежья. В этой статье сделана попытка уточнить картину путем рассмотрения этого эпизода во взаимосвязи внутривосточного и внутриэмигрантского контекстов в специфических условиях второй половины 1922 г. Речь пойдет о первых днях и неделях, проведенных на Западе изгнанными осенью 1922 г. из советской России, и об изменениях в самосознании Русского Зарубежья, вызванных появлением в Берлине большой группы русских интеллектуалов.

Следует, во-первых, подчеркнуть, что пароход был не вполне «философским»: философы составили сравнительно немногочисленную, хотя по приезду в Берлин и наиболее, наряду с газетными публицистами, активную часть группы¹. Высылаемые были представителями широкого спектра интеллигентских профессий, и в чекистской табели о рангах философы отнюдь не считались наиболее вредным сословием. Об этом можно судить по инструкции, направленной Дзержинским своему заместителю Уншлихту 5 сентября 1922 г., где на первом месте, опередив даже группу «публицисты и политики», названы «беллетристы» — по-видимому, расцененные как злейшие враги². Недаром в самых ранних сентябрьских отчетах в эмиг-

рантских газетах об арестах, произведенных в Москве и Петрограде, и о предстоящей высылке фигурировали Анна Ахматова и Евгений Замятин³.

Одним из щекотливых моментов акции оказывался вопрос о том, на какой срок была рассчитана введенная в 1922 г. мера наказания. Как известно, высылаемым под страхом смертной казни воспрещалось самовольное возвращение на родину. О неясности юридического характера акции сообщалось в статье, опубликованной в газете «Руль» после прибытия в Берлин второй большой группы высланных: «Никаких конкретных обвинительных материалов предъявлено не было. Сразу же было объявлено, что арестованные будут высланы за границу, причем эта мера применяется к ним на основании ст. 57 советского Уголовного кодекса, говорящей о борьбе с советской властью в моменты особенно тяжелого положения последней. Высылка за границу на основании этой статьи могла быть применена только по приговору революционного трибунала. Между тем вся группа выслана в административном порядке. Декрет об административной высылке был опубликован только после того, как арестованным было объявлено, что они высылаются.

В этом декрете содержится указание на срок высылки. Высылка в административном порядке допускается до 3 лет, между тем в паспортах, выданных высылаемым, указано, что они «высылаются из пределов Р.С.Ф.С.Р.» без указания срока: во французском тексте паспорта употреблен термин «expulse», что значит «исторгается» из пределов советской России, а словесно агенты Госполитуправления объявили высланным, что они высылаются навсегда»⁴.

Эта туманность и противоречивость юридического определения наказания привели к тому, что в эмиграции долгое время продолжался спор относительно того, предполагалось ли ограничение срока высылки тремя годами или нет. Понятно, что вопрос этот несущественным считать нельзя, поскольку он в разной степени скрещивался с выбором той или иной линии поведения после приезда. Отметим, что кара могла не сводиться к акту высылки, как таковой: дополнительной репрессией в отдельных случаях являлось лишение гражданства.

Едва ли не первым из группы высланных в 1922 г. подвергся этой каре И.А. Ильин, лишенный подданства уже в 1923 г. Длительное время сохранял советское гражданство Н.М. Волковыский, возобновлявший в Варшаве свой советский паспорт (подчас просроченный) вплоть до Второй мировой войны.

Как известно, арестованным 16–17 августа в Москве и Петрограде задано было всего несколько вопросов, в числе которых был и вопрос об отношении их к эмиграции. Насколько можно судить, все без исключения заявили о своем отрицательном взгляде на нее⁵.

В советской интерпретации решение о высылке преподносилось как своеобразный акт милосердия, тем более впечатляющий, что он был предпринят на фоне только что прошедшего процесса над эсерами и вынесенного на нем смертного приговора обвиняемым, вызвавшего бурю в западно-европейской социалистической печати. Высылка «кадетской» интеллигенции за границу изображалась как гуманная альтернатива тюремному заключению или расстрелу. Вместе с тем не все намеченные к высылке за границу удостоились этой милости; в то время как Замятин, например, сумел добиться отмены распоряжения о высылке, некоторым из арестованных дело было переквалифицировано и они подверглись ссылке в северные губернии страны⁶.

Еще более существенным, однако, чем суд над эсерами, было в конкретной обстановке 1921–1922 гг. другое явление: громко заявившее о себе к тому моменту движение сменовеховства. Возникновение его было своеобразным ответом части эмигрантской общественности на обращенные к эмиграции с весны 1921 г. призывы советского правительства к репатриации. Тогдашние наблюдатели недоумевали, как высылка либеральной интеллигенции, никак не участвовавшей в политической деятельности в советской России, увязывалась с щедрым обещанием амнистии воевавшим в белых армиях на фронтах Гражданской войны и приглашением эмигрантов вернуться на родину. Высшим проявлением сменовеховской идеологии стало издание газеты «Накануне», провозгласившей курс на сближение русской интеллигенции с советской властью. Сменовеховцы жадно ловили любые отклики с родины на свои выступле-

ния, особую ценность придавая как раз отзываю либеральной, оппозиционной или полуоппозиционной интеллигенции (той самой, на которую вскоре и обрушились репрессии). В самом факте существования «независимой» (некоммунистической) прессы в советской России сменовеховцы видели симптом трансформации большевистского режима. Поэтому к критическим выступлениям на *этих* страницах в свой адрес они относились с особым подобострастием и противопоставляли их нападкам, шедшим из эмигрантской среды. А.В. Бобрищев-Пушкин, например, писал: «С наслаждением прочел сборник «О смене вех», полный глубины и свежести мысли, так выгодно отличающихся появляющееся в России от мертворожденных плодов эмиграции. Повода к пристрастию у меня здесь нет: и от Изгоева, и от Клеменца, и от Петрищева мне жестоко досталось, и не холостыми выстрелами Мирских или Зензиновых, не беспочвенною бранью, а меткими полемическими ударами, бьющими по выраженной идее. Здесь есть о чем поговорить»⁷.

Эта статья Бобрищева-Пушкина появилась в Харбине в октябре 1922 г., то есть одновременно с прибытием «философского парохода», и интересна она в первую очередь тем, что оказалась вопиющим анахронизмом прямо в момент своего появления: обстановка и внутри России, и в эмиграции резко изменилась. Движение сменовеховства в эмиграции встало на путь открытого сервилизма по отношению к коммунистическому режиму. Силы же внутри советской России, к которым ранее тяготели вожди сменовеховства, — независимая, свободомыслящая, либеральная интеллигенция, — подверглись разгрому со стороны властей.

Замечательно, что сменовеховцы свои надежды устремили тогда на новых, только что прибывших изгнанников. Первыми такими изгнанниками за несколько месяцев до «философского парохода» стали Е.Д. Кускова и С.Н. Прокопович⁸, арестованные вместе с другими деятелями разогнанного в августе 1921 г. Помгола и сосланные в Вологодскую губернию, причем ссылке их предшествовали слухи в европейской печати о вынесенном им смертном приговоре⁹.

Публичные выступления Кусковой по приезду вызвали изумление в эмигрантской среде. Кускова отвергла утверждения о

«двух» Россиях (большевистской и эмигрантской) и заявила, что существует лишь один народ. Русский большевизм создан восьмидесятипроцентной неграмотностью, а не работой Ленина. Бесцельно поэтому вынашивать проекты интервенции извне; только «интервенция народного сознания», которая уже созревает внутри страны, способна сменить большевистскую власть. Неудивительно, что сменовеховская «Накануне» отнеслась к высланным как к своим единомышленникам, полностью подтвердившим правоту платформы газеты. Но удивила Кускова эмиграцию не только тем, что она высказала, но и тем, что отказывалась заявлять, очутившись на свободе. Милоков писал ей по этому поводу 29 июня 1922 г.:

«Очень понимаю, что до уяснения — взаимного — всех неясных пунктов Вы не желаете высказываться. Понимаю и трудность Вашего положения, *если* Вы хотите вернуться в Россию. Большевики поступили умно, выпустив именно Вас: на Вас они будут ловить других, и это очень осложняет положение и осложняет еще Ваше окончательное решение»¹⁰.

Прибытие Кусковой стало своеобразным предзнаменованием того, чему предстояло произойти и в связи с «философским пароходом». Но следует отдавать себе отчет и в существенных различиях между этими двумя явлениями. Отъезд Кусковой и Прокоповича носил характер изолированного, индивидуального шага, а не широкой, «массовой» репрессии. К тому же, в отличие от большинства высланных осенью, Прокопович и Кускова были общественными деятелями с ярко выраженными политическими амбициями, людьми, прямо вовлеченными в политические битвы.

Что касается «философского парохода» — «большой», «массовой» высылки, — обращало на себя внимание то, что она была не однократной акцией, а длящимся процессом, состоявшим из нескольких отдельных этапов. Первая группа из Москвы прибыла на поезде в Ригу, откуда большая часть продолжила путь в Берлин. В их числе были Н.А. Бердяев, А.А. Кизеветтер, И.А. Ильин, Питирим Сорокин, М.А. Осоргин, Ф.А. Степун, А.В. Пешехонов¹¹. Одновременно в Константинополь из Одессы выехали высланные из Украины. Затем другая группа москвичей прибыла пароходом из Петрограда в Штеттин. В нояб-

ре в Берлин приехала и долго ожидавшаяся группа петербуржцев. Такой «волнообразный» характер высылки способствовал поддержанию напряжения, как в среде эмиграции, так и внутри страны — это был своего рода занесенный меч, готовый в любую минуту обрушиться на новую жертву.

Как встретили высланных эмиграция, и русский Берлин в частности? Первые же сообщения об арестах в советской России и о намеченной высылке трактовали эти акции как расправу над интеллигенцией, причем понятие «интеллигенция» было отождествлено с понятием «внутренняя эмиграция», оформившимся как раз в связи с (предстоящей) высылкой. Б.С. Миркин-Гецевич писал: «“Эмиграция внутри России” это и есть та интеллигенция, которая хранит и возродит интеллигентскую традицию политической свободы. “Эмиграция внутри России” не вымрет. Присоединившиеся к большевизму сами не верят в смерть “эмиграции внутри России”, — поэтому они так яростно и так грубо нападают на русскую интеллигенцию»¹².

На глубокую парадоксальность факта высылки обратила внимание газета «Руль», являвшаяся оплотом правого — берлинского — крыла кадетской партии. В передовой от 22 ноября говорилось:

«Была гражданская война, внутреннее положение крайне неустойчивым признавалось, и все же можно было терпеть присутствие этих людей в России, а теперь, когда они (большевики. — Л.Ф.) каждый день торжествуют победу, теперь оказывается, что кругом враги, враги везде и всюду. Высланные интеллигенты никакой “политикой” не занимались, напротив, ревностно погрузились в свои профессиональные задачи. Но именно это и было страшно опасно для советского режима, не переносящего никакого проявления независимой мысли...»¹³

Кажется само собою разумеющимся, что эмигрантский Берлин должен был встретить изгнанников, тем более таких, которые несли с собой столь мощный духовный потенциал, с единомышленным энтузиазмом. Первоначальный прием был действительно радушным. В той же передовой статье «Руль» выразил пожелание, чтобы группа высланных сохранила единство, оказавшись в новой для себя обстановке:

«Горячо приветствуя новую группу лишенных отечества, нужно отдать себе ясный отчет, что эта высылка представляет щедрый незаменимый подарок эмиграции. Прожив все эти тяжелые пять лет в России, они всесторонне могут осветить те глубокие перемены, которые произошли на нашей родине, таким образом послужить связующим звеном между эмиграцией и родиной. Важнейшая неотложная задача эмиграции заключается в том, чтобы не дать высланным группам рассыпаться, чтобы широко использовать те умственные силы, которые высланные группы представляют»¹⁴.

Между тем практически сразу же между приехавшими и эмигрантской общественностью обозначились глубокие трещины. Отчетливее всего это выразилось в истории бывших единомышленников и близких друзей с молодых лет: П.Б. Струве и С.Л. Франка. Расхождения между ними тем более характерны, что были свободны от примеси каких бы то ни было партийных интриг¹⁵. Решающим оказался водораздел, пролеглий между двумя — «белой» и «красной» — Россиями в годы Гражданской войны. Выехавшие из советской России мыслители, ни в коей мере не солидаризуясь с коммунистическими властями, в большинстве своем игнорировали героические стороны Белого движения и акцентировали его пороки и провалы. Они испытывали глубокое сомнение относительно способности или даже права эмиграции судить об их жизни под большевиками. Более того, сам факт, что в труднейших обстоятельствах жизни они остались в России, пройдя голод и лишения, тюрьмы и концлагеря, казался им основанием для особой гордости, ставя, в их глазах, их личный опыт выше того, что выпало на долю спасшихся от советской власти в эмиграции. Глеб Струве писал родителям в Прагу 28 марта 1923 г.:

«Надо сказать откровенно, мне в высланных очень не нравятся то, как они обособленно держатся, отгораживаясь от всех других и как бы претендуя на монопольное знание того, что нужно России, и как-то возводя в подвиг то, что они оставались все время в России. Но ведь их там никто и не трогал, а когда тронули, то только выслали. Других же расстреливали, да и теперь бы расстреляли. Эта отгороженность и подчерки-

вание своего превосходства чувствуется больше всего как раз у философской группы — в Бердяеве, Франке — но особенно резко выразилась она в речи Карсавина, на воскресном собрании (открытие Рел<игиозно>-Фил<ософской> Академии), прямо и откровенно формулировавшем эту точку зрения»¹⁶.

Даже придерживавшийся правых убеждений, прославлявший Белое движение и этим противопоставивший себя остальным высланным И.А. Ильин с гордостью писал П.Б. Струве о годах, проведенных под большевиками:

«Эти пять лет я считаю для себя не меньшею милостью Божией, чем завершительное “изведение” из темницы. Я жил там, на родине, совсем не потому, что “нельзя было выехать”, а потому, что Наталия Николаевна и я считали это единственно верным, духовно необходимым, хотя и *очень* опасным для жизни. Мы бы *сами и теперь* не уехали бы, ибо Россия в своем основном массиве — там; там она более, там же находит и найдет пути к исцелению. От постели больной матери, лежащей в беспомощности и судорогах, — *sua sponte** не уезжают; разве только — оторванные и выброшенные.

Если Вы думаете, что у нас там был духовный застой, — то Вы глубоко ошибаетесь. Нет, там была огромная адская кузница духа; молот сатаны отбирал драгоценные камни от шлака и уцелевшие под его ударами получали новый луч — *черный*, в своем первоначальном, белом сверкании. Без этого *черного луча* — все души бессильны бороться с сатаною»¹⁷.

Некоторые из высланных были уличены — задолго до «философского парохода» — в высокомерно-пренебрежительном отношении к эмиграции. Так, Н.М. Волковский, один из руководителей оппозиционного Дома литераторов в Петрограде в 1921–1922 гг., еще в сентябре 1920 г. подвергся критике В.Д. Набокова за свой фельетон об эмигрантской прессе, под названием «Река мелеет» напечатанный в петроградских «Известиях». Иронизируя над теми, кто в поисках комфорта бежал в эмиграцию, Волковский заявлял, что новая Россия зарождается в тех, кто остался. В своем ответе на этот фельетон Набоков писал о Волковском:

* По своему желанию (*лат.*).

«Это не эволюция, а обычное приспособление к изменившейся обстановке. Правда, он, по собственному своему заявлению, не стал партийным коммунистом, он сохранил полную независимость политических воззрений и сохранил за собою право сознавать себя “честным” — и я ни в малейшей степени не собираюсь оспаривать это право. Но я хотел бы спросить г. Волковыского — если до него дойдут эти строки, — сохранил ли он другое, очень ценное, право: право высказывать и защищать свои “независимые” (не знаю точно, какие) воззрения и бороться с воззрениями “господствующими”? Или же его “независимость” есть только некое украшение, само по себе безвредное и презренное в глазах теперешних хозяев прессы, но поднимающее цену заявлений “бывшего буржуазного журналиста” — и его покорности?»¹⁸

Одной из самых заметных политических фигур в группе высланных был публицист, близкий соратник П.Б. Струве А.С. Изгоев, для многих олицетворявший собой приверженность интеллигенции к инакомыслию в условиях диктатуры большевиков¹⁹. В петроградском сборнике «Утренники» (ставшем, как известно, непосредственным поводом и мишенью той идеологической кампании, апогеем которой была высылка) Изгоев поместил статью «Суд над террором», посвященную московскому процессу над эсерами. Статья эта тогда же, летом 1922 г., вызвала резкое возмущение берлинской газеты «Голос России», поместившей ответ Марка Слонима. Он обвинил Изгоева в оправдании государственного террора, осуществляемого большевистским режимом, в занятии «пилатовской» позиции по отношению к предстоявшему суду над социалистами-революционерами. Слоним писал:

«Быть может, Изгоев не сказал всего, что думал, потому что не мог, потому что он живет и пишет там, где власть не только считает себя вправе убивать тысячи и тысячи людей, но и уничтожать свободное слово живущих.

Но тогда лучше было бы и для Изгоева и для читателей, если бы статья “Суд над террором” не была бы вовсе написана.

Половинчатая и искаженная правда подчас хуже лжи. А речи о любви, из которых можно вывести оправдание делам злости и крови, — всегда хуже молчания»²⁰.

И все же изгнанные воспринимались перед их приездом на Запад как лица, духовно и идеологически близкие эмиграции, оказывавшие мужественное сопротивление большевистскому режиму. Тем большим разочарованием оказывались молчаливость и сдержанность многих из них по пересечении границы, уклонение от политических дебатов, бушевавших на страницах эмигрантских газет. Осторожность эта была тщательно обдуманной линией поведения. Ведь многие товарищи по несчастью, в частности в Петрограде, оставались еще в тюрьме и в любую минуту дело их могло быть пересмотрено в сторону ужесточения обвинения. Отклоняя приглашение П.Б. Струве выступить в Праге на Академическом съезде, С.Л. Франк писал ему 10 октября 1922 г.:

«В Прагу я сейчас приехать не могу не только потому, что не могу оставить семью, не устроив ее, но и по другим, более общим основаниям. А именно мы, высланные, вынуждены и совместно обязались, в интересах оставшихся в России, по крайней мере первое время держаться очень осторожно и нигде не выступать публично. <...> Петербуржцы, в том числе и Изгоев, еще сидят в тюрьме, хотя и предназначены к высылке. <...> В Москве тоже есть партия предназначенных к высылке, но еще сидящих в тюрьме или не отправленных. <...> Не только мое выступление на съезде, но даже появление на нем будет известно в Москве и может отразиться на оставшихся. По крайней мере первое время, пока не подъедут остальные, мы считаем необходимым держаться в тени»²¹.

С.Л. Франк сравнил оставшихся в советской России с «заложниками», проводя аналогии с советской практикой времен Гражданской войны. Между тем самый «процессуальный», делящийся характер кампании по высылке превращал в «заложников» в руках советских властей и «выпущенных», вырвавшихся на Запад изгнанников.

В прямой связи с этим оказывалось и отношение выехавших к эмигрантской прессе. Некоторые из них имели возможность ознакомиться с ней урывками еще до отъезда. Но погружение в нее по прибытии за границу резко усилило отрицательное к ней отношение. Глеб Струве сообщал родителям 9 октября: «Все они — вплоть до “черносотенца” Ильина —

страшно недовольны зарубежной прессой»²². В цитированном выше письме Франк попенял П.Б. Струве за статью Г. Шавельского «Церковь и революция», напечатанную в «Русской мысли», которая, по имевшимся сведениям, привела к резкому ухудшению положения патриарха Тихона:

«Мы все, жившие и живущие там, не понимаем, как может здешняя пресса так мало считаться с действием ее в России, где ее читают и ею руководятся только коммунисты и ГПУ (бывш^{ая} ЧК). <...> У нас слагается странное впечатление, что здешние политики считают и живых людей в России, и все тамошние культурные начинания за негодный материал, обреченный на истребление во имя одной лишь безграничной свободы слова среди эмиграции»²³.

Между тем в глазах зарубежья мотивы, стоявшие за такой сдержанностью, выглядели недостаточно вескими, если не морально ущербными, и П.Б. Струве порицания в свой адрес отвел:

«Моральную ответственность вашу за каждое слово перед людьми, которые вели активную борьбу и после такой ушли, я считаю гораздо более важной, более связывающей, чем ответственность, в смысле безопасности, за тех, кто остался там, в Совдепии. Вообще нужно понять, что для людей, которые вели борьбу, аргумент “безопасности” не имеет той силы, который вы ему, кажется, приписываете. Я не могу упрекнуть себя ни в одном легкомысленном поступке с этой точки зрения, но тот факт, что моя семья оставалась до осени 1920 г. в Совдепии, ни на одно мое решение в смысле борьбы не влиял и не мог повлиять»²⁴.

Струве чувствовал, что предъявленные ему упреки в неосмотрительности в освещении событий внутри страны и ссылки на соображения безопасности были в значительной мере лишь прикрытием глубоких расхождений во взглядах на положение в советской России и на перспективы грядущих перемен в ней.

Подобные контрверзы вспыхивали не только в лагере правых. По получении статей Кусковой «Большевики — наши дети», посланных в газету «Последние новости» накануне появления первой группы высланных, Милюков писал ей:

«Вас тянет туда, Вы мыслью и душой там живете и переживаете так непосредственно каждый эпизод удачной “лояльной оппозиции”, обезоруживающей башибузукство. <...> Вы из-

меряете прогресс сравнением с 1918–19 годами, а мы — с тем, что было до революции; Вы находите его огромным, а мы строим недовольные мины; слишком мало, слишком поздно, слишком медленно. А страдали-то и выстрадавали вы, а не мы. Не скоро нам к вам приспособиться; скорее, пожалуй, Вы поизбалуетесь до нашего уровня»²⁵.

Психологические преграды, остававшиеся в высланных и после того, как они очутились на свободе, делали чрезвычайно трудным для них вращение в существовавшие органы эмигрантской печати. А. С. Изгоев писал П. Б. Струве вскоре после прибытия:

«Здесь в Берлине в первую неделю я мало где был и мало кого видел, хотя нахожусь в постоянной суете. Должен только сказать, что берлинские русские газеты произвели на меня тягостное впечатление и я пока не могу понять смысла их существования. Конечно, позиция и настроение «Руля» понятнее и ближе мне, чем лишенная всякой принципиальной основы и практического разума точка зрения «Дней», но я чувствую, что при теперешнем моем умонастроении не мог бы работать ни там, ни тут»²⁶.

Из газет русского Берлина наибольший интерес к привлечению новых изгнанников проявили «Дни» Керенского, с 29 октября сменившие собой «Голос России». Выходу газеты предшествовали напряженные переговоры с Кусковой и Осоргиным, которые свое участие обуславливали приданием редакции непартийного характера. Требование это не было принято, и Кускова вошла в новую газету лишь после того, как провалились ее попытки основать независимый орган демократической общественности и она пришла к выводу о нежелательности того, чтобы Берлин остался с двумя лишь газетами, причем равно неприемлемой для нее ориентации, — «Накануне», с одной стороны, и правокadetским «Рулем» — с другой. «Очень, очень противно в такой момент добиваться права голоса — в России — у большевиков, здесь — у эс-эров», — признавалась она²⁷. В течение первых недель выступления Кусковой и Прокоповича в «Днях» были столь интенсивными и темпераментными, что у современных наблюдателей не оставалось сомнения в том, что именно они и являются глав-

ными лицами в редакции. Опровергая эти слухи, Кускова, писала В.А. Маклакову: «Никогда так не жаждала *своей* газеты, как сейчас. В чужой невозможно не только писать то, что нужно сейчас, но даже и половины не скажешь»²⁸. При этом наиболее мощной движущей силой ее общественных инициатив оставалось страстное неприятие эмигрантской политики: «Все настойчивее и настойчивее тянет в Россию. Как ни вертишься тут, — а все это — не то! Не то... Шаги там самые маленькие неизмеримо ценнее здешних самых умных дел»²⁹.

Большинство высланных (хотя и не обязательно в столь же резкой, как Кускова, форме) осознавали себя в противопоставлении и размежевании с эмиграцией. В этом состоял пафос пресловутой брошюры А.В. Пешехонова «Почему я не эмигрировал», написанной в ноябре 1922 г. в Риге, сразу после выезда и отвергнутой и «Современными записками», и «Последними новостями», куда обратился автор. Обособленность от эмигрантского круга на протяжении всей своей жизни за рубежом подчеркивал Бердяев («мы не эмигранты, а высланные», — записывает его жена в марте 1935 г.)³⁰. Намек на это заключен и в криптониме «ВИР» (Высланный из России), которым пользовался Б.О. Харитон в своих статьях в рижской газете «Сегодня» в конце 1930-х гг. Сходное стремление утвердить свою независимость по отношению и к эмиграции, и к большевистской власти привело Н.М. Волковыского к попытке издания в Берлине в конце 1926 г. собственной газеты «Путь», задуманной как групповой форум высланных³¹.

Это позволяет полагать, что «высланные» в большинстве своем как бы остались «внутренней эмиграцией», чужеродным телом по отношению к эмигрантской общественной жизни. По приезде в Берлин Кускова отреклась от понятия «второй» России. Непреодолимая тяга на родину подчас заставляла ее отрицать вполне очевидные вещи — так, например, она наотрез отказывалась зимой 1930 г. допустить какую бы то ни было причастность советских органов к исчезновению Кутепова³². С другой стороны, ее ближайший корреспондент, союзник и оппонент П.Н. Милюков, как бы определяя особый характер группы, назвал высланных — накануне их прибытия — «Россией № 2 ½». Имеющиеся материалы вынуждают нас с его определением согласиться.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ См.: Лосский Б. К «изгнанию людей мысли» в 1922 году // Ступени: Философский журнал. 1992. № 1 (4). С. 58–69; Русский альманах. Париж, 1981. С. 351–362.
- ² См.: Коган Л. А. «Выслать за границу безжалостно»: (Новое об изгнании духовной элиты) // Вопросы философии. 1993. № 9. С. 66.
- ³ См.: Разгром интеллигенции: Арест Ахматовой и Замятина // Последние новости. Париж, 1922. 12 сент. № 736.
- ⁴ Приезд высланных из Советской России // Руль. Берлин, 1922. 21 (7) нояб. № 603.
- ⁵ См.: Коган Л. А. «Выслать за границу безжалостно»...
- ⁶ Там же. С. 79–80.
- ⁷ Бобринцев-Пушкин А. Петроградские критики «Смены вех» // Русская жизнь: Альманах. Харбин, 1922. Окт. Вып. 3. С. 13–15.
- ⁸ Мы не рассматриваем здесь выехавших до того меньшевиков и анархистов, поскольку высылка их носила иной — чисто «партийный» — характер, чем репрессии против творческой и научной интеллигенции, предпринятые с лета 1922 г.
- ⁹ См.: Слухи // Последние новости. Париж, 1921. 25 сент. № 443. Ср. там же опровержение: «Несвоевременный шум».
- ¹⁰ ГАРФ. Ф. 5865 (Е.Д. Прокопович-Кускова). Оп. 1. Ед. хр. 322.
- ¹¹ См.: В Советской> России // Последние новости. 1922. 30 сент. № 752.; см. также: Высланы из Советской> России // Там же.
- ¹² Мирский Б. Внутренняя эмиграция // Последние новости. 1922. 2 сент. № 728.
- ¹³ Щедрый дар // Руль. 1922. 22 (8) нояб. № 604.
- ¹⁴ Там же.
- ¹⁵ Ср.: Струве Г. П. С.Л. Франк и П.Б. Струве: главные этапы их дружбы // Сборник памяти Семена Людвиговича Франка / Под ред. прот. о. Василия Зеньковского. Мюнхен, 1954. С. 49–66.
- ¹⁶ Письмо Г.П. Струве к Н.А. Струве // ГАРФ. Ф. 5912 (П.Б. Струве). Оп. 2. Ед. хр. 89. Л. 92–93 об.
- ¹⁷ Письмо И.А. Ильина к П.Б. Струве от 3 ноября 1922 г., Берлин // Ильин И.А. Собр. соч.: Дневник. Письма. Документы (1903–1938). М.: Русская книга, 1999. С. 115–117.
- ¹⁸ Набоков В. Человеческий документ // Последние новости. 1920. 16 сент. № 122. С. 2. Этот же фельетон, как симптом того, что русская интеллигенция начинает сдаваться, упомянул спустя несколько дней и Бор. Мирский в статье «Дело «Тактического Центра»» (Последние новости. 1920. 19 сент. № 125. С. 2). Биографическую справку о

Н.М. Волковыском см. в кн.: Флейшман Л., Абызов Ю., Равдин Б. Русская печать в Риге: Из истории газеты *Сегодня* 1930-х годов. Stanford, 1997. (Stanford Slavic Studies; Vol. 13). Кн. I: На грани эпох. С. 299–300.

¹⁹ См.: Грин Ц. И. Изгоев и Ленин: к истории последнего противостояния (1919–1922) // Историко-библиографические исследования: Сборник научных трудов. СПб., 2002. Вып. 9. С. 26–43.

²⁰ Слоним М. Изгоевщина // Голос России. 1922. 14 июня. № 989.

²¹ Испытание революцией и контрреволюцией: Переписка П.Б. Струве и С.Л. Франка (1922–1925) / Публ. М.А. Колерова и Ф. Буббайера; Примеч. М.А. Колерова; Предисл. Н.С. Плотникова // Вопросы философии. 1993. № 2. С.121.

²² Письмо Г.П. Струве к Н.А. Струве от 9 октября 1922 г. // ГАРФ. Ф. 5912 (П.Б. Струве). Оп. 2. Ед. хр. 89. Л. 79–81 об.

²³ Испытание революцией и контрреволюцией: переписка П.Б. Струве и С.Л. Франка (1922–1925). С. 121.

²⁴ Там же. С. 125.

²⁵ Письмо П.Н. Милюкова к Е.Д. Кусковой от 14 сентября 1922 г. // ГАРФ. Ф. 5865 (Е.Д. Прокопович-Кускова). Оп. 1. Ед. хр. 322.

²⁶ Письмо А.С. Изгоева к П.Б. Струве от 25 ноября 1922 г. // ГАРФ. Ф. 5912 (П.Б. Струве). Оп. 1. Ед. хр. № 59. Л. 2 об.

²⁷ Письмо Е.Д. Кусковой к П.Н. Милюкову от 13 ноября 1922 г. // ГАРФ. Ф. 6845 (Последние новости). Оп. 1. Д. 342.

²⁸ Письмо Е.Д. Кусковой к В.А. Маклакову от 30 декабря 1922 г. // Hoover institution archives (V. Maklakov papers). Box 9. Folder 12.

²⁹ Там же.

³⁰ Бердяева Л. Профессия: жена философа. М.: Молодая гвардия, 2002. С.101. 6 мая 1939 г. она же приводит его слова: «Ты знаешь, когда нас высылали за границу, у меня было твердое решение никогда не иметь сношения с рус<ской> эмиграцией...» (Там же. С. 173.)

³¹ Это начинание оказалось эфемерным, газета закрылась после пяти номеров.

³² «Ни одной минуты не верю также, чтобы Кут<епова> увезли большевики. Зачем он им? Слишком много возился он со всякого рода террористическими и шпионскими организациями, а это среда часто — в масках. Вообще положительно тоном в русской грязи, и конца ей не видно» (письмо Е.Д. Кусковой П.Н. Милюкову от 2 февраля 1930 г. // ГАРФ. Ф. 6845 (Последние новости). Оп. 1. Д. 342).